А. И. ЭРТЕЛЬ

Сочинения

А. И. Эртель. Избранное //, М., 2011
FB2: “shum29 ” <au.shum@gmail.com >, 22 September 2011, version 1.01
UUID: 58125162-e5b1-11e0-9959-47117d41cf4b
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Александр Иванович Эртель

Мое знакомство с Батуриным

«Батурин был близкий мне человек. Теперь он умер. Перед смертью он писал мне и просил меня издать его записки. И, странное дело, человек в высшей степени скромный, он просил при отдельном издании поместить его биографию. Вот уж задача-то неблагодарная...»

Александр Иванович Эртель
Мое знакомство с Батуриным

Батурин был близкий мне человек. Теперь он умер. Перед смертью он писал мне и просил меня издать его записки. И, странное дело, человек в высшей степени скромный, он просил при отдельном издании поместить его биографию. Вот уж задача-то неблагодарная... «Я, — говорит, — хочу, чтобы видели, почему от бодрых восклицаний во вкусе Левитова я пришел к пессимизму „Идиллии“ и „Аддио“, и почему вообще я разметал свои силы и дошел до Ментоны. Все это вы поясните». Странная и, повторяю, неблагодарная задача. Внешние факты из жизни Батурина таковы: происходил из дворян (хотя бабка его и была крепостная); ценза не имел; хозяйничал плохо (мужики его ужасно надували); курса в университете не кончил; женат не был... Вот. Разве добавить к этому, что любил деревню и до конца дней своих бредил степью? Так это и без того видно.

Записки свои он начал вести в Петербурге, куда занесли его некоторые обстоятельства на целый год. «Особенно скверно мне там было в апреле, — говорил он, — такая тоска забрала меня тогда и до того взманила степь,

что я не выдержал и взялся за перо». Позже, по приезде в деревню, это уже сделалось привычкой. Вообще нужно сказать, человек он был глубоко почвенный и к земле своей пришит был крепко. Это с одной стороны. Но с другой — эта земля мучила и терзала его неусыпно. Он всегда с завистью говорил о сороковых и шестидесятых годах. «Счастливые люди жили в те годы!» — часто восклицал он, обыкновенно вздыхая при этом. «Чем же они счастливы-то, Николай Васильевич?» — спрошу, бывало, я. «А тем счастливы, — скажет, — вера в них была, цельность была, врага они ясно видели, идеалы свои ощупывали руками... А теперь что, — мы теперь точно мужик: стащили с него барина, он и не знает, кто его за горло душит». Ясность отношений исчезла; суматоха какая-то всюду, путаница, абракадабра... И напрасно я напоминал ему идеалы, ясные как кристалл; он с тихою печалью улыбался. «Да, они ясны, — говорил он. — Но это — ясность теории, ясность вычислений арифметических. Они ясны до той поры, пока жизнь не затуманит и не загрязнит их... Вот погодите, насмотритесь, может быть. Все за-

хватает своими нечистыми руками эта проклятая, эта изолгавшаяся жизнь, и в конце концов получатся пятна, не более...» И он в унынии поникал головою. Иногда же злился, обзывал меня Маниловым и уподоблял идеалы тульским самоварам, что до тех пор и блестят, пока новы, а чуть попадут в руки кухарки — и конец их блистанию. Вообще он легко поддавался желчи.

Но временами на него находила бодрость, и тогда страстное нетерпение загоралось в нем. Он ездил по соседям, знакомился с новыми людьми, говорил, проповедовал, строил проекты различных мероприятий... А спустя немного снова сидел кислый и больной. И так во всю жизнь. Мне кажется, особенно угнетала его пустота, как бы искусственно воздвигнутая вокруг него: куда бы он ни сунулся, везде встречались запоры и преграды. Я говорю о цензе. Но, конечно, и не одно это угнетало; необходимо еще упомянуть о нервах, не дававших ему покоя. Это хрупкое наследие дворянских предков он в особенности проклинал.

Любимым его писателем был Глеб Успен-

ский, любимым поэтом — Некрасов. Читая вообще плохо, в стихи Некрасова он покладал душу, и они выходили у него изумительно прекрасными. Я и теперь без волнения не могу вспомнить то страстное выражение его глубокого и гибкого голоса, с которым он произносил, весь охваченный каким-то острым и тревожным ознобом:

Что враги?
Пусть клевещут язвительней,
Я пощады у них не прошу.
Не придумать им казни мучительней
Той, которую в сердце ношу!
Что друзья?
Наши силы не ровные,
Я ни в чем середины не знал,
Что обходят они, хладнокровные,
Я на все безрассудно дерзал;
Я не думал, что молодость шумная,
Что надменная сила пройдет —
И влекла меня жажда безумная,
Жажда жизни — вперед и вперед!
Увлекаем бесславною битвою,

Сколько раз я над бездной стоял,
Поднимался твоею молитвою,
Снова падал — и вовсе упал!..
Выводи на дорогу тернистую!
Разучился ходить я по ней,
Погрузился я в тину нечистую
Мелких помыслов, мелких страстей.
От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!
Тот, чья жизнь бесполезно разбилася,
Может смертью еще доказать,
Что в нем сердце не робкое билося,
Что умел он любить...
Хорошо это у него выходило.

Я уже сказал, что женат он не был. Но роман у него был, и притом интересный. Не буду распространяться о подробностях этого романа, о неизбежном его подразделении на три части: все это длинно, да, по совести говоря, и не особенно идет к делу. Расскажу лучше

с его слов: так же кратко и с такой же настойчивостью напирая на развязке.

«Любил я, конечно, страстно, — говорил он. — Помню долгие ночи, проведенные без сна, и глупые стихи, вымученные с болью душевной... Помню, как горела несчастная моя подушка и обольстительные грезы кружили голову... Но, само собой, благородство кипело во мне ключом, и, прежде чем объясниться в любви, я много потрудился с золотниками. Понимаете, я взвешивал и мерил, разлагал и вскрывал свои помыслы и свои грезы. И представьте, какое обстоятельство смущало меня сильно: когда она нежно улыбалась, рот у нее казался слишком большим, и это мне ужасно не нравилось: было что-то хищное и вместе очень уж сладкое в этой улыбке... это глупость, конечно, но вы эту „глупость“ пока отметьте. — И так, после долгой возни с своим нутром я прыгнул; то есть открылся в любви, изволите ли видеть. Ну она, как и бывает в подобных случаях, сначала вошла в испуг, затем стала ко мне присматриваться... Одним словом, история чересчур уж известная: мы, говоря высоким слогом, полюбили. Некото-

рые обстоятельства надлежащим образом драпировали эту любовь, или лучше сказать попросту: разжигали. Оно хотя и грубое слово, но к делу чрезвычайно идет. Говорить приходилось с осторожностью; в области сношений мы ограничивались боязливым пожатием руки...

Но как бы то ни было, дело дошло до „свидания“. Ах, если бы вы видели эту теплую июльскую ночь и залезли бы на эту ночь в мою шкуру! В небесах горел месяц, и в саду было тихо, как в могиле. Вы знаете, ведь в июле соловьи у нас замолкают... И так было тихо. Я сидел у подножия старого тополя, и ждал ее, и смотрел. Сначала меня пожирала лихорадка: зубы стучали от какой-то неизъяснимой стужи; по телу колючим ознобом пробегала дрожь... Но потом окружающая тишина как будто дохнула на меня свежим и мирным своим дыханием. Какая-то странная неподвижность сковала все существо мое... Нервы получили неизъяснимую, неизвестную дотоле чуткость. Густая листва тополя, молчаливым пологом висевшая надо мною; березовая аллея, недвижимо окаймившая

тихую реку; ясная луна в ясном небе — все это переполнилось каким-то особым выражением и, как будто сдерживая дыхание, смотрело на меня, ждало от меня чего-то... Именно *сдерживая дыхание*. Душа моя точно растворялась в природе. Какие-то волны, тихие и вкрадчивые, беспрерывным течением вплывали в нее, внося с собою непреодолимую истому и славное ощущение какой-то широкой и сладкой полноты... Я не мыслил, я только ощущал. Во мне даже замерло нетерпение мое... Прелестнейшее животное состояние!

Понятно ли вам, как все это предрасполагало к неге, к любви, к блаженству? А вышла, друг мой, одна только отвратительнейшая ерунда!.. Впрочем, это пока в сторону. — Не буду расписывать вам чувства мои, когда легкий шорох платья коснулся, наконец, моего слуха. Помню только, что я узнал, с поразительной чуткостью, похожей даже на ясновидение, узнал, что это непременно ее синее кашемировое платье. Но не в этом дело. Месяц светил несколько вкось, и его лучи, сквозя чрез листву ближней березы, падали прямо ей в лицо. Или лучше — не падали, а играли

прихотливыми пятнами. Помню, как сейчас, что один ее глаз (правый) да нижняя часть лица освещались особенно часто и особенно ярко. Как-то так приходилось. Помню также, что прикоснулся я к ней положительно с какой-то безумной радостью, и долго, не отрываясь, смотрел ей в глаза, влажные и несколько восторженные. *Она* прижималась ко мне вся в трепете и как будто недоумевая. Или, скорее, казалась растерянною от огромного счастья... Но вместе с тем губы наши не „сливались в поцелуй“ (какое удачное выражение это „сливание“!) от какой-то непонятной нам, но ужасно настойчивой стыдливости.

И вот в эту-то пору сугубого блаженства до нас донесся внятный шорох. Мы замерли. Но я не выпускал из объятий милую девушку и по возможности старался казаться твердым. Шорох усилился. За кустом сирени послышались голоса и как будто фыркнула лошадь... А затем произошел следующий разговор:

— Васюх?

— Я.

— Обделал?

— Вона!

— Чья?

— Шут ее знает! Кажись, Митрошкина.

— Мерин, так Митрошкин. Холка побита?

— Побита.

— Ну, Митрошкин.

Послышался сдержанный смех.

— Вот поревутся-то!

— Пущай. Он мне, брат, тоже завязал о Покрове: „Вор ты, говорит... В Сибири, говорит, тебе место...“ Пущай теперь...

— Ловок! Ну, покурим, да в ход. Не гнались?

— Не видать.

— К Архаилу?

— К кому же опричи... Не иначе как к Архаилу.

— Скуп стал, линючий пес!

— Всё две красных даст.

Конокрады уселись и, по-видимому, закурили.

— Эх, жизнь проклятая! — сказал один, сплевывая сквозь зубы, — как заполучу, так запью.

— А что, — спросил другой, — аль не подается?

— Подается! — насмешливо возразил первый, — она подастся, как прихватить ее в тесном месте.

Помолчали.

— А девка хороша, — сказал другой. Первый ничего не ответил. Тогда другой в свою очередь плюнул и произнес:

— Взял да прихватил.

— И прихвачу, — решительно ответил первый. — Как пойдет к сестре в Лупцоватку, так и прихвачу. А станет кричать — изобью как собаку.

— А насчет подарку?

— Берет, дьявол. Берет, да что толку!.. Позавчера целый полштоф наливки вылопала. Вылопать вылопала, а к чему пришло дело: выкладывай, говорит, четвертной билет. Мне, говорит, Чумаков купец четвертной билет сулит... Мне, говорит, ежели за четвертной, и от мамушки запрета нету... Поди вот поговори с ней!

— Эка! — равнодушно произнес другой и снова сплюнул. — Ну, а баба твоя? — спросил он после непродолжительного молчания.

Первый засмеялся.

— И утюжил я ее, братец ты мой, вчерашнею ночью! — сказал он. — До того добил — хрип у ней, окаянной, пошел. Ну — бросил.

— Эка!.. — заметил другой, и, помолчав, спросил: — За дела?

— Стерва она! — с негодованием отозвался первый. — Гармонь я купил, так на что гармонь купил, ей бы муки да дьявола пестрого... Будет помнить гармонь!.

— Их не бить, добра не видать, — философически вымолвил другой, и после паузы спросил: — Где мерина-то подцепил?

— На жнивах. Ходит по копнам и не дается, дьявол. Бился, бился...

— Молодчина ты! — одобрительно сказал другой.

— Я, брат, не из робких, — хвастливо возразил первый, видимо польщенный похвалою, — я, брат, чуть что — мне и в Сибири не страшно. Эка-ста!..

— А мне опять старых чертей поить, — сказал другой в раздумье.

— А что?

— Все насчет ссылки этой... То ничего все; а у Митьки амбар обокрали, и пошло, и

пошло... Это уж знай — на десятку напорешься: два ведра, хоть издохни!..

— Напоил бы я их!

— И напоишь, — в некоторой обиде отозвался другой.

— Я бы их напоил! Я бы подпустил им!

— Подпустишь!

— И подпущу. Я, брат, своим так и сказал: чуть что — ждите красного петуха в гости. Небось!

— Ловок ты! Семья-то, она, брат...

— Что ж семья...

— Что ж! Семья-то, она, брат, тово... Она, брат, детишки тоже... Это ты тоже не тово...

— Тютя ты! — презрительно отозвался первый. — Я бы не токмо бояться их, чертей, я бы измолол их... В струне бы их держал. Эх, баба ты!.. Ты бы, кабы не они, может житель был бы... Ты, как за хомут скотину-то у тебя пропили, легче бы петлю накинул на себя... — И он вдруг прыснул: — И на кой дьявол ты хомут этот сволок? Хомут городской, на какого лешего тебе этот хомут?

— Хомут, хомут! — смущенно возразил другой. — Поедем-ка... Хомут!.. Ловки вы...

Затем опять раздался шорох. Лошадь снова фыркнула, и все смолкло.

— Ах, ужас какой! Как я боялась... — воскликнула девушка и крепко прижалась ко мне, закинув назад изящную свою головку.

— Чего же ты боялась, дорогая?

— Услышат... Папа узнает... Скандал... Мало ли чего!

— Ну вот тут-то и конец моему роману, — саркастически усмехаясь, добавлял Батурин. — Руки мои внезапно как плети скользнули по ее гибкому стану и в бессилии опустились. Во рту появилась какая-то сухая и неприязненная горечь... А тут, как на грех, месячный луч коварно лег на ее губы, и выражение страсти немилосердно растянуло их. И что же мне показалось! — бывает же глуп человек — мне показалось: какая-то огромная птица бьется на моей груди... И, страшно сказать, все существо мое переполнилось непобедимым отвращением.

Она, впрочем, впоследствии вышла замуж за одного прокурорского товарища. Он был мал, как котенок, и фамилию ему дал господь бог самую подходящую — „Сюсюткин“».

Вот единственный роман Батурина.

Ну, а еще, я, ей-богу, не знаю, что сказать о нем. Добрый был человек, любил искусство... Но в последнее время редко заглядывал в книги. Да что в последнее время! — в последнее время он только мучился да терзался, да путался в различных думах, тяжких и удушливых, как кошмар... И вот человек умер.

Говорят, что, умирая, он обвел окружающих тоскливым взглядом и спросил упорно: «*Да когда же мы переведемся на Руси?*» Что он этим хотел сказать — не знаю. Но, повторяю, добрый был человек, и его жаль.

Я издаю его записки.